

Анатолий  
АГРАНОВСКИЙ

**ОВТОРИТЬ** описание всегда считалось стыдным делом — это плагиат. Повторить фабулу тоже опасались — это заимствование. А вот мыслей повторить в сoty, в тысячу раз, да еще теми же авторами словами, это почему-то не считается у нас зазорным. Многое делает художественную публистику — композиция, языки, пейзаж, диалог, портрет, — но без мысли, глубокой, умной, желательно свежей, современного очерка попросту нет.

Что такое публистика? Существует много определений, и каждое по-своему правильное. Главное для меня такое: публистика призвана будить общественную мысль. И когда, садясь за стол, мышь новым поворотом, новый сюжет, новые слова, все это делается для того, чтобы повести читателя путем мысли. Если же публистика монотонна, если повторяется сказанного выдается за постановку темы, то мысль общества не будится, а усыпляется. Произведения такого рода называют бесполезными. Неправда. Бесполезное вредно. Безумная публистика наносит огромный вред развитию общественного сознания, ведь, который мы еще не умеем оценить.

Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо пишет. Пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо пишет.

Было время, публицист щелкал своим героям за готовым. Он сам все знал наперед, ему требовалось всего лишь подтверждение. К людям шли за фактом, за цифровым. Лучшие шли за метким словом, за краской: взглянуть, какие руки у героя, увидеть его глаза и не пытаться описать современника. Но очень редко шли за мыслью.

Нынешний очерк так уже не может. Ненагнанный интерес к мысли, или, бери привычную формулу, к духовному миру современника, ведет публистику многих наших журналистов. С другой стороны, отходя на второй план всяческие беллетристические заитки и украшения, призванные скрыть бессмыслие.

Нас окружает бездна умных людей. Мы еще порой удивляемся встрече с интересным человеком, а пора уже удивляться, когда журналист таких не находит. Это вранье, что где-то есть простые люди, которые-то не ничего интересного не могут рассказать. Нет таких. А если находятся, то это значит только то, что мы были скучными собеседниками, не сумели как следует выслушать человека. Я помню совет отца, старого журналиста: «Идешь на первое интервью — не давай ему рта раскрыть. Первый раз говори сам. Во второй вечер можешь уже слушать. Вот тогда выпадет разговор».

Разрешу себе еще немножко отвлечься от высоких материй, чтобы поговорить о нашем ремесле. Очень полезно в работе бывает то, что я для себя называю умением ставить собеседника на место. Приходишь к знатному ли рабочему, или министру, он для тебя вначале не живой человек, а скорее лишь имя, должность. И надо «за-землить» его, сделать самим собой, потому что, стоя перед ним по стойке «смирно», писать нельзя. Я убежден: когда Горький писал о Ленине, он не смотрел на Владимира Ильича снизу вверх. Он изучал его, как изучал всех своих героев, потому-то и получился портрет Ленина, лучше которого нет ни в публистике, ни в литературе.

Корень публистики — убежденность автора. Идейная убежденность. Лучшие выступления рождаются, когда журналист мог бы воскликнуть: «Не могу молчать! Худшие — когда «могут молчать». Я верю публицисту, если чувствую: это волнует то, о чем он пишет. Ведь вынужненная. Автор не вчера придумал тему, он много размышлял о ней, тема наболела.

Я давно понял: можно позволить себе критику любой степени остроты, в том числе и в юбилейный год, если читатель видит, что журналист более за дело, пишет, чтобы помочь движению вперед.

После статей некоторых наших публицистов в наборных кассах восхищательных знаков не оставалось, лимит их исчерпался до конца квартала. Мне лично по душу скромный вопросительный знак. Он в традициях русской демократической революционной публистики: «Что делать?», «Кто виноват?».

Есть известная сказка о дураке, который на свадьбе плакал, а на похоронах смеялся. Мне иногда кажется, что он вовсе никак не дурак, просто он боялся перегибов. И когда случается шараханье из одной крайности в другую, то дурак — убежденно, честно, а главное, своевременно скажет об этом.

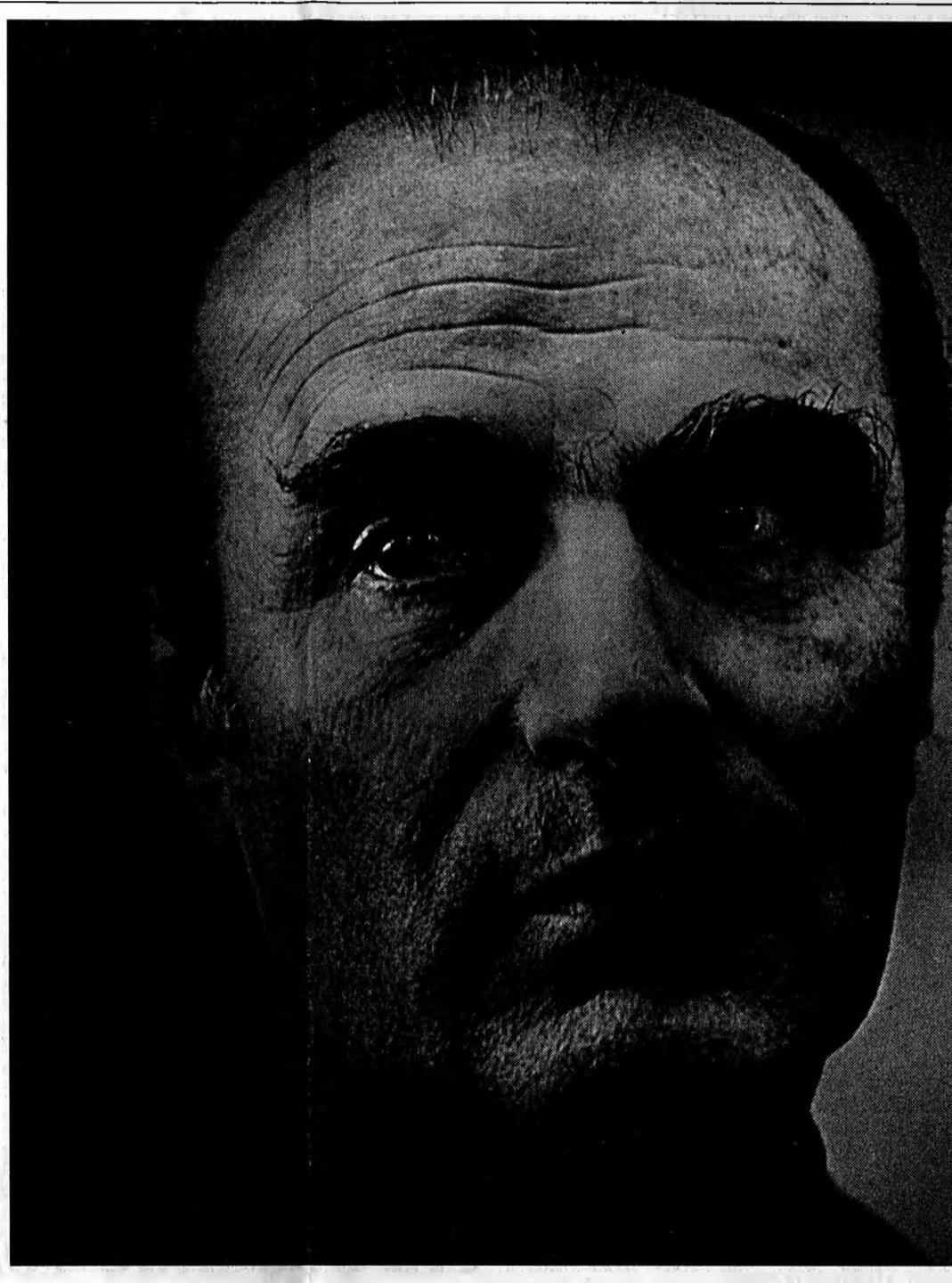
Пожалуй, всего трудней дается

# Давайте думать

8 января Анатолию Абрамовичу АГРАНОВСКОМУ исполнилось бы 75 лет. Как-то он написал, что хорошо бы печатать «По следам наших публикаций» не через месяц, а лет через десять-пятнадцать. И этот срок действительно оказался подходящим для проверки сделанного им в нашей журналистике. Прошло тридцать лет после его несправедливо ранней смерти, и результаты его работы обнаруживаются со все нарастающей ясностью и на такой глубине, в которой всегда стремился мастер. Понятия, вошедшие в тебя с воздухом страны, не растворятся без остатка, какими бы сильными средствами их не обрабатывали. Поэтому наша журналистика, совершив бросок в западную информационность, беспаллиционность, бесстрастность, под давлением читательских пристрастий потихоньку возвращается к своим традиционным ценностям.

Не было за последнее время ругательное слово, чем публицистика. Это неудивительно, если учсть, как был искажен ее смысл газетами советского времени. Но Аграпновский был и тех, кто понимал и хранил этот смысл всегда. Каждой своей статьей он наставлял, что публицистика — это служение мысли, новой и актуальной; это ощущение общественной боли как своей личной; это откровенность, требующая мужества; это 300 страниц блокнотных записей для очерка в 12 страниц; это развертывание дураков, сходящихся умных, и утверждение умных, почему-то ходящих в дураках; это когда министры расчекивают красным карандашом свою статью и созывают коллеги; это даты под очерком 1961—1964; это поток идущих в ответ писем и твоя работа с ними, устанавливавшая обратную связь; это фразы, набирающие незыблемость афоризмов. Это самоуважение журналиста и газеты.

Аграпновский не дожил до времени дозволенных обличий, когда публицистика разгулялась на всю катушку, доказывая в умных статьях и блестательных очерках справедливость тех нескользких истин, которые уже лет двадцать были очевидны любому интеллигенту в России. Но он сделал очень много для того, чтобы эти истинны стали очевидны. Сейчас, когда каждый из журналистского цеха выживает в одиночку, когда амбиции разного рода затмевают разум, когда даже смерть одного из своих не объединяет, а разъединяет коллег, трудно представить, что тогда слово «учитель» не коробило даже самых талантливых газетчиков. Поле, излучаемое Аграпновским, было так велико, что любой публицист оценивал себя сам и оценивался читателями в той мере, в какой приближался к Аграпновскому. И эта сила



притягивала центрировала цех, делала его сплоченным и сильным.

Когда распалась страна, выплынула с водой и ребенком. Вместе с плохими истинами забыли и хорошие. Теперь на обывателя призывают новую идеологию. Наверняка найдутся исполнительные умники, которые полезут в старые книги. И они будут правы. В двухтомнике Аграпновского, куда вошли его газетные очерки, они обнаружат много такого, что не поддается разрушению никакими веяниями, никакими правительстваами: основы жизни любого, даже послепрестороженного общества — честность, самоотдача, совместность, сострадание.

Сегодняшняя публикация не юбилейная. Это попытка напомнить, что настоящие ценности не создаются вспышках и по приказу. Они вырабатываются кропотливым, ответственным трудом, пример которого — творчество Аграпновского.

Друзьям он, бывало, говорил: «Не могу понять тех, кто именует себя писателем». Он считал себя журналистом. И скорее всего посыпалась бы над академиками в новопроруманной Академии свободной прессы. Отрывки из публикуемых писем публициста подтверждают, что журналистика — это не профессия, это образ мысли и жизни.

Ольга ТИМОФЕЕВА

шнист, какой рукой крутил реверс, какой давал контрапар, оставляя позади. Я говорил с по-мощником машиниста, который случайно остался жив, и он мне сказал, что вымытый машинист все равно бы «не управился». И если бы я написал: «перед его мысленным взором...» — я обманул бы машинистов, домашних хозяйств, колхозников, но тут пустяков, которые должны были в каждом депо повесить портрет машиниста. Я понял, какая работой были заполнены они, что делал ма-

шист, какой рукой крутил реверс, какой давал контрапар, оставляя позади.

Как человек я тоже свято верил, что так оно все и было. Но как журналист обязан был «подвергать сомнению». На паровозе я проехал тот же перегон, засекая время секундомером. Мы ехали с той же скоростью, и от того момента, когда помощник крикнул «Коля, дерхи!», до момента аварии прошло всего несколько секунд. Я понял, какая работой были заполнены они, что делал ма-

шист, какой рукой крутил реверс, какой давал контрапар, оставляя позади.

Ездите нечто гораздо более важное. У машиниста не было дилеммы — прыгать или не прыгать. (В Министерстве путей сообщения мне сказали, что за последнее время у нас не было ни одного случая, чтобы машинист вымытый из паровоза, спасая свою жизнь, и погиб пассажиром...) Всей своей жизнью машинист был подготовлен к подъему в высшем, толстовском понимании этого слова: человек делает то, что он должен делать, несмотря ни на что. Ему не надо было размышлять, взвешивать — он выполнял

свой долг. И это правда. И правда оказалось сильней.

В жизни каждого журналиста

бывает, что узнаешь подробности, которых лучше бы не знать. Так сказать, мешающие детали. Ну, скажем, надо писать о передовике производства, ты знакомишься с ним, видишь, что действительно человек работает лучше многих, но, как бы это выражаться, живет в нем чрезмерный интерес рубль. (Как сказал мне недавно один волжский строитель: «Рубль — лучший «Блокадный агитатор».) Ильи

наоборот: герой фельдшера — исключительный негодяй, делающий подделку, а ты с ним встречаешься и вишишь добродушного дядю. И это мешает.

Чаще всего в подобных случаях мы прибегаем к фигуре умолячания. И потерпели наши очень велики.

Еще известный знаток человеческих душ Шерлок Холмс заметил: «Побочные обстоятельства вызывают иногда так же красноречивы, как муха в молоке». В «мешающих» подробностях иногда бывает заключено самое интересное.

Сегодня он нужнее, чем когда-либо

Сегодня он нужнее, чем когда-либо

Сегодня он нужнее, чем когда-либо

## Сегодня он нужнее, чем когда-либо прежде

Отто ЛАЦИС  
«Известия»

ЕСЯТИЯ лет я старался до него дотянуться.

У меня своя тема, свое знание жизни, но в профессиональном отношении не было для меня более высокой задачи, чем — написать хоть раз не хуже Аграпновского. Если бы потребовалось ввести единичные измерения журналистского мастерства, я бы ее предложил: «один миллиаграпновский». «Мили», потому что на «один Аграпновский» тянулся один — Аграпновский.

Большинство людей моей профессии в этом не сомневались — и были правы. Но если мысли о причинах и сущности его профессионального лидерства — не знаю. Тогда я понимал это так же, как сейчас начал сомневаться в правильности общепринятого взгляда.

Тогда я был уверен, что главная его сила — в умении свободно говорить о том, что казалось невозможным высказать в подцензурной прессе. Так сколовал высшего класса, кажется, легко идет по отвесной стене, на которую обикновенный человеку и посмотреть страшно.

Это была сила особого мастерства, рожденного для особого времени. Времени мертвящей журналистики, оставившей крайне мало простора для честного и мыслящего

человека. Факт, мысль, совесть, собственное мнение — все это не требовалось. Журналистика подчинялась пропаганде установок, изрекаемых некоторыми старцами на вершине партийно-государственной пирамиды. Аграпновский умел проходить сквозь стены запретов. Проделывая огромное сопротивление, неся потери — но проходил. Я в свое время внимательно изучал, как он это делает, и не я один: была целая школа Аграпновского, прежде всего в «Известиях», сложившаяся особой под газетным письмом, позволявшая с помощью специфических литературных приемов каким-нибудь очерке на поползне протащить пару абзацев назло начальству, да так, чтобы цензор эти несколько фраз не увидел, а искущенный читатель — замечал.

Эта школа умерла через несколько лет после того, как умер Аграпновский. Пришла гласность, а с ней — возможность писать прямо и просто. И стало утверждаться мнение, что заслуги Анатолия Аграпновского — огромная, неоценимая заслуга — относится исключительно к ушедшей эпохе боязни. Утвердилось мнение, что сегодня Аграпновский нам не нужен и самому ему в газете девяностых годов было нечего делать.

Что мешало мне принять такой взгляд. Что-то на уровне интуиций, связанное, может быть, с тем, что я знал Толю не только как читатель. И лишь со временем я понял, что главным в творчестве Аграпновского было не это. Главным был его взгляд на человека, его понимание человека.

Тогда было в ходу прямолинейное деление журналистов на восхваляющих и критикующих. Восхваляющих

кало начальство, критикующих ценили за честность и смелость читающего народа. Я по молодости лет ровно десять ждал в рядах критикующих, но однажды обнаружил, что Аграпновский пишет в основном в жанре «положительного очерка». Об учите Адриан Топорове («Как я был первым»). О летчик-испытателе Григории Седове, Владимира Нефедова, Георгия Мосолове («Одно слово»). О глазном хирурге Святославе Федорове («Открытие доктора Федорова»). Я терялся, пытаясь ответить на вопрос, который написал бы Толя сегодня о предпринимателе Федорове, о политике Федорове, вещающем не то о народном капитализме, не то о народном социализме. Силось ответить — и не мог. Может быть, ничего не стал писать. Но писал о докторе Федорове — этот очерк не вызывал сочувствия и сегодня. И никогда не устареет начальная, ключевая фраза: «Интеллигентия — слово русское».

Да. Толя писал в основном в жанре «положительного очерка». Но не найти было газетного писателя острее и критичнее, чем Аграпновский. «В погоне за совершенством» — это было нечто иное, чем «воздушный зонтик».

Да. Толя писал в основном в жанре «положительного очерка». Но не найти было газетного писателя острее и критичнее, чем Аграпновский. «В погоне за совершенством» — это было нечто иное, чем «воздушный зонтик».

Я понял, что деление журналистов на критикующих и

Мне довелось быть свидетелем того, как собирали материал к статье «Дело вкуса» корреспондент «Известий» по Восточной Сибири Л. Шинкарев. Внимание журналиста привлекло то, что на Братской ГЭС, стройке, равной которой нет в мире, чрезвычайно низок уровень художественного оформления. Почему? А потому, что главный инженер ГЭС командовал художниками, как гидротехниками. При нас к нему пришли трое дипломников Академии художеств. Они привнесли эскизы оформления машинного зала. Главный инженер сказал: «Нет, не надо красных машин, пусть будут под цвет ангарской волны, голубые». Он искренне считал, что имеет право давать такие указания.

Оказалось главный инженер просто-напросто дураком, корреспонденту было легко писать. Но инженер был умный человек и прекрасный специалист. И оттого, что Шинкарев не избежал этой «мешающей» детали, написал, отдававший инженеру все должное, очерк получился сильнее. Дело не в том, что инженер дурак, а дело в том, что у нас даже умные люди бывают иной раз давать указания по вопросам, в которых специалисты не являются.

Практически Вам надо из множества примеров, которые стоят у Вас перед глазами, выбрать один или два. Но уж «раскочите» их до конца. Я бы лично пошел этим путем. Тогда Вы получите факты, даты, цифры, имена. Тогда можно писать.

Обобщение (если факт, взятый Вами, не у感人) выйдет самой собой. <...>

Я не теоретик, но убедился давно в следующем: чем точнее, чем с большим проникновением в детали, чем с большей характерностью описано данное конкретное дело, тем сильнее будет выявлено типическое для всех людей и мест.

Значит, надо нам, газетчикам, ковыряться в деталях, лезть в глубь, а не ширь, заниматься раскрытием частностей. Это трудно, но всегда безопасно, но в конце концов мы сами выбираем себе путь свой. И всегда есть возможность писать гладко, проблем острою не проглатывать, тем сложных не поднимать.

Еще один совет. Если Вы решились писать о том, что Вас волнует, будьте до конца объективны, непредвзяты. Это мы все знаем, все проповедуем, но на практике это бывает нелегко. Возьмем хотя бы эту премию врачей берут деньги на лечение. На нее пришел отклик — письмо от главного зоотехника Горок. Он назывался гигантским публицистом «писакой». Писарев